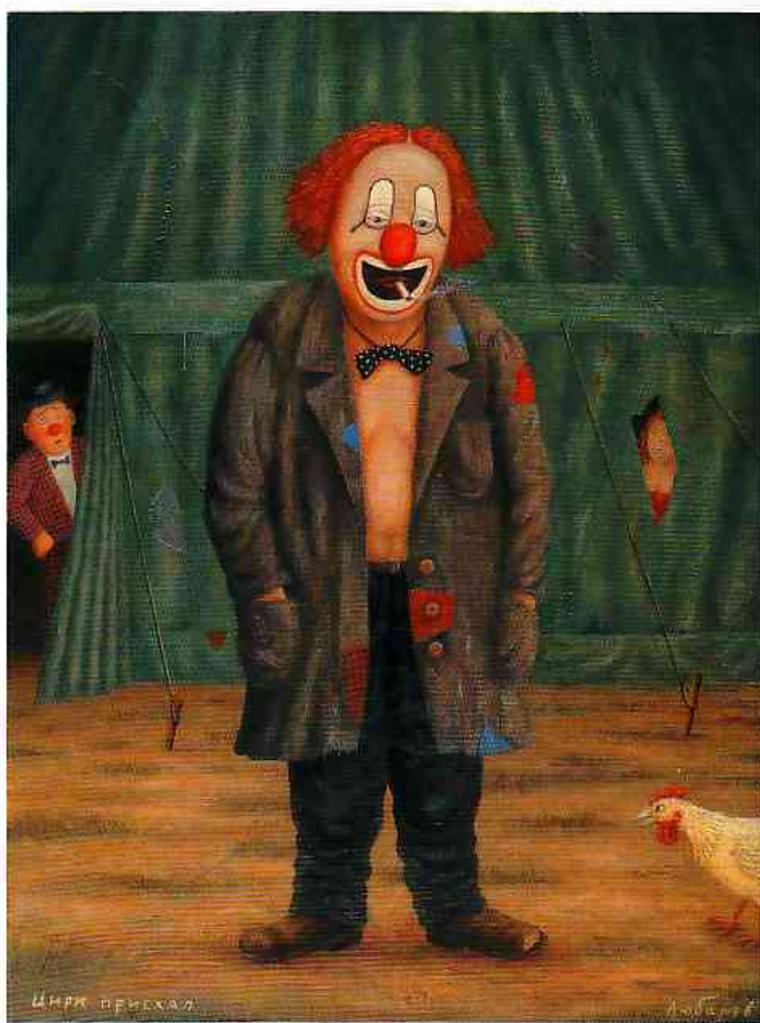


Владимир Качан

АРТ ПАСЬЯНС



Владимир Качан Арт-пасьянс

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8485639
Авторское;*

Аннотация

Владимир Качан – народный артист России, актер театра и кино, автор-исполнитель, писатель. По выражению его друга Михаила Задорнова, – «человек без определенных занятий».

«Арт-пасьянс» по Качану – это «собрание пестрых глав»: воспоминания, капустники, байки, розыгрыши, пародии, фельетоны, стихи и песни. Тут и репетиции Анатолия Эфроса, и улыбка Любви Полищук, и молчание Владимира Высоцкого... И Лев Дуров, на сцене гоняющий в футбол.

Содержание

Предисловие	4
«Бедность не порок»	6
Часть 1	7
Про Задорнова	7
Про Филатова	15
Бело-розовая пастила для Леонида Филатова	16
Про Эфроса	18
И тогда придет Эфрос	18
Про Высоцкого	23
Гори, гори, его звезда...	23
Про Михаила Козакова	25
Про Дурова	27
Regretium mobile, или Портрет Льва Дурова в интерьере нашей жизни. Масло. Елей	27
Смотреть прямо	31
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Владимир Качан

Арт-пасьянс

Предисловие

Давайте сразу же проясним – почему «арт-пасьянс». Во-первых, речь тут пойдет преимущественно о людях искусства. Поэтому – «арт», «артистический пасьянс», а артистами мы можем называть не только лицедеев, но и художников, и музыкантов, а также (не побоюсь сказать) – и литераторов, ибо Пушкин, Лермонтов, Чехов, а несколько позднее Булгаков писали диалоги так, как могли это делать исключительно артисты, обладающие даром перевоплощения. Только эти писатели передавали эмоцию не жестом, голосом или мимикой, а словом. И если им самим доводилось кому-нибудь читать свои произведения (даже Л.Н.Толстому), то они делали это как артисты. Так сказать – с выражением.

За свою кино-театрально-музыкальную (т. е. артистическую) жизнь автор сочинил немало капустников, очерков, эссе, коротких рассказов, рецензий на увиденные спектакли и даже одну рецензию изнутри, на спектакль «А чой-то ты во фраке?», в котором исполнил две роли в разной очередности. Наблюдения не только за братьями по цеху, но и другими людьми превращались потом в литературные заметки, зарисовки, ждущие своего часа, чтобы (быть может) порадовать читающую публику. Ну вот они и дождались и объединились в одну забавную и, будем надеяться, интересную не только коллегам автора книжку с вышеупомянутым названием.

Теперь – почему «пасьянс»? Все очень просто. Как и в картах, тут фигурируют и шестерки, и валеты, и короли, и тузы, и уж конечно – дамы, преимущественно из театральной среды, из этого специфического общества, особенного мира, насчет обитателей которого, актеров, еще Чехов усомнился: «Да и люди ли они вообще?..» Ну разумеется люди, только люди своеобразные, отдельные, которым в силу профессии приходится всю жизнь прикидываться и еще – заботиться о том, чтобы нравиться другим. Впрочем таких «актеров» теперь легко можно найти среди бизнесменов, политиков, гламурной тусни, в телевизионной среде и даже (страшно сказать!) – среди врачей. Но эти – хуже, потому что они постоянно врут и в повседневной жизни.

Таким образом, надеялся автор, книга будет состоять из рассказов о наивных людях, которые любят (или любили, пока не ушли в мир иной) «высокие отношения», верят в них, верят в то, что надежда, добро и юмор – это навсегда, а власть денег – временно; что их детские игры и розыгрыши в театре – это хорошо, а политические и финансовые игры – плохо. Конечно, актеры – дети, испорченные, эгоистичные, непристойно легкомысленные и плохо воспитанные, но все равно – дети, и потому их вера в то, что добро всегда побеждает зло, их тайная вера в сказку, несмотря на внешний цинизм и склонность к черному юмору, вызывает у автора сочувствие, понимание и симпатию. Да что там говорить! Он, автор, и сам такой...

Приступим, однако, ко всем этим рассказам и наблюдениям разных лет, сопровождаемым сегодняшними комментариями. Если прошло много лет, требуется кое-что объяснить, не так ли?..

Ну а некоторые этюды в прозе в комментариях не нуждаются, годы их не берут, они актуальны и сегодня и, похоже, будут актуальны всегда.

Автор надеется, что книга, которую вы держите сейчас в руках – нечто среднее между тетрадью и фолиантом, – вас позабавит и станет на некоторое время вашим товарищем, с

которым не захочется потом расставаться. И для начала – короткая глава о школьном драм-кружке.

«Бедность не порок»

На школьной сцене осуществлялась смутная, но навязчивая мечта о лицедействе. Грим, костюм, образ – и девочки, которых можно было безнаказанно обнимать, пребывая в этом самом образе. Спектакль «Бедность не порок» великого драматурга Островского. Вдумайтесь в название! Сегодня, когда деньги в главной роли, оно звучит гораздо абсурднее, чем во времена Островского. Но некоторые все же верят, что так оно и есть, что «бедность не порок», а всего лишь преодолимая неприятность. И все равно это архаика, рудимент прошлого, далекая история России, когда были живы похороненная нынче романтика и агонизирующие теперь идеалы...

Вернемся все же в драмкружок 10-й рижской средней школы. Тут автор получил первую роль, о чем и будет рассказано в этой главе, в которой автор (сообразно возрасту и своему положению в искусстве) фигурирует под именем Вова. В готовящейся постановке пьесы он получил роль богатого старика Африкана Савича. Получил легко, т. к. никто больше не хотел этого старика играть. Конкурса на эту роль, прямо скажем, не было. Главную героиню, которую играла девочка Люся, насильно выдают за Африкана Савича замуж, а она, естественно, любит другого. Старик этот – конечно, сволочь, думает, что если у него есть деньги, то ему можно все.

Люся была самой красивой девочкой в драмкружке, и в нее были влюблены все, кто побыл с ней рядом хотя бы пять минут. Мало того что она была обладательницей самого красивого в школе лица, она уже в девятом классе умела вести себя с мальчиками так, что у них половое созревание наступало намного быстрее, чем они рассчитывали. Кокетничая буквально всем телом, она словно обещала то, чего потом никогда не давала, и эта обманчивая доступность страшно заводила всех старшеклассников, которые с ней общались. Этого искуса не избежали и все ее платонические партнеры по драмкружку, не миновал его и Вова.

На сцене будущую невесту подводили к Африкану Савичу, и он, беря ее за руку, произносил слова: «Ручка-то какая!.. бархатная!». Режиссер (и руководитель драмкружка) в этом месте добивался от Вовы выражения вожделения, омерзительной старческой похоти; он даже показывал, как это надо произносить. У режиссера получалось, разумеется, лучше, потому что было ему ближе. А у Вовы не получалось: похоть – ну, это уж как-нибудь, а вот старческая – это с трудом. К тому же он в этот момент всегда бывал занят совсем другим. Беря Люсю за «бархатную ручку», Вова всегда держал в своей руке вчетверо сложенную маленькую записку, в которой объяснялся Люсе в любви и назначал ей свидание. Люся эту записку незаметно брала и прятала, продолжая играть роль обреченной невесты.

Привязанное и спрятанное под рубашку и жилет пузо, наклеенная окладистая борода и парик с прямым пробором все-таки придавали образу Африкана Савича какую-то достоверность, но чувств в Люсе они никак не могли возбудить, и Люся записки брала, девичье любопытство удовлетворяла, но дальше дело не шло, на свидания она не приходила.

Со злорадным удовлетворением отвергнутого поклонника Вова однажды увидел Люсю на школьном вечере не в длинном платье, в котором она репетировала, а в коротком. У Люси оказались ноги кавалериста, с детства не слезавшего с лошади: совсем кривые, кривее, чем даже у самого Вовы... Любовь угасла, улетучилась, будто ее и не было. Да и не было, конечно. Просто он поддался массовому увлечению, Люся нравилась буквально всем, как было не впасть в этот общешкольный психоз.

Часть 1 Действующие лица

Про Задорнова

В спектакле «Бедность не порок» друг детства, юности и зрелости Михаил Задорнов исполнял эпизодическую роль ряженого медведя. Он действительно что-то там вытанцовывал в настоящей медвежьей шкуре. Вы представляете себе – каким оказался карьерный рост этого персонажа?! От ряженого медведя до новогоднего поздравления граждан России!!! Он тогда в полночь исполнил обязанности президента Российской Федерации. Это вам даже не Рейган, попавший в президенты из артистов. Это круче! Впрочем, в ту пору наш реальный президент частенько и сам исполнял роль ряженого. Таким образом состоялась, как он сам говаривал, «рокировка».

Но все же вернемся назад, в наш школьный драмкружок и к нашему с Мишей активному участию в нем.

В драмкружке Миша Задорнов исполнял роли эпизодические, он сам теперь на концертах часто вспоминает, как в том самом спектакле изображал медведя, а я, мол, играл главную роль. Вспоминает даже с удовольствием, потому что все же видят теперь, кем он стал, несмотря на то, что в школьном драмкружке его не оценили. Был еще спектакль «20 лет спустя» по Михаилу Светлову, и Миша там в конце играл комиссара, который благословляет комсомольцев на дальнейшую правильную жизнь. Большие черные усы были наклеены на Мишину юношескую физиономию. Они существовали независимо друг от друга: комиссарская кожанка и усы – отдельно, а Миша – сам по себе. И веры в комиссарскую проповедь, в правдивость того, что говорит, в Мише уже тогда не было.

А еще мы с ним сыграли в школьной самодеятельности чеховского «Трагика поневоле». Ну... вышло, что не вполне чеховского.

Надо отметить, что лично у меня не было подобного успеха за всю последующую артистическую жизнь. У Миши – случалось: он доводил и доводит людей иногда до спазмов и конвульсий, когда в зале уже не смех, а стон. У меня – никогда! Мне тогда приделали большой живот, так называемую толщину, затянув на ней тесемками широкие штаны. Я должен был прийти к Мише и жаловаться ему на свою проклятую жизнь. Он сидел в каком-то шлафроке, с приклеенными усами, и, якобы глядя на портрет любимой, что-то наигрывал на школьном фортепьяно.

Я вошел и начал свой монолог. В руках у меня было множество свертков и кульков, которые я привез с собой на дачу. Как бы – по хозяйству... И тут тесемки развязались, и штаны начали сползать. Я в ужасе продолжал монолог, пытаюсь поправить непоправимое. Штаны все падали и падали; обнажилась толщина, а из-под нее неопрятно свешивались концы веревок, которыми она была привязана к корпусу артиста. Я подтянул штаны, и у меня тут же попадали все свертки. Я попытался подобрать свертки – у меня, естественно, снова рухнули штаны. Я обеими руками судорожно вцепился в штаны – немедленно посыпались свертки. Надо было наконец выбрать: или штаны, или кульки. Разумнее, конечно, было бы удержать штаны. Но я хотел умудриться сделать и то и другое одновременно и в дикой панике продолжал эту клоунату, с неуместным мужеством продвигая вперед, к окончательной катастрофе, свой монолог...

Мне было вовсе не смешно, а страшно, как никогда в жизни, но в зале хохот стоял такой, что я уже тогда понял всю жалкую тщету тонкого юмора по сравнению с простым и

безыскусным падением штанов. У Задорнова отклеился ус, он прикрылся от зала портретом любимой и реплики свои, задыхаясь от смеха, подавать перестал.

Только один человек, сидевший в зале, серьезный Мишин папа, сказал позже, что мы изувечили Чехова.

А потом мы в день рождения Ленина играли на школьной сцене выстраданную нашей историчкой вещь: «Ходоки у Ленина». Эта, как говорится, «штучка» была посильнее «Фауста» Гёте. Третьего ходока изображал Мишин одноклассник Крылов. Ленина, разумеется, на сцене не было, да и кто бы отважился его сыграть. Зато присутствовала его секретарша. Вот к ней мы и должны были обращаться с хрестоматийной просьбой: «Землицы бы нам».

Как выглядел русский крестьянин, измученный голодом, войной и разрухой, мы примерно представляли себе по известной всем картине Герасимова. Но понятно, что ни лаптей, ни армяков, ни зипунов школьная самодеятельность не имела. С длинными бородами на изможденных лицах тоже было сложно: бороды нигде не успели достать, а изможденные лица – не успели нажить. Кое-как себя изуродовав (выпустив рубашки, подвернув зачем-то штанины брюк, вывернув наизнанку шапки-ушанки и полагая при этом, что превращаем шапку – в треух), мы, как могли, сгорбились и вышли на сцену. Оля Дзерук, игравшая секретаршу, строго спросила нас, мол, по какому вопросу мы к Ильичу? «Сестрица, – жалобно сказал кто-то из нас, уж не помню, кто именно, – землицы бы нам».

И тут мы имели неосторожность переглянуться, а переглянувшись – друг друга будто заново разглядеть; а увидев, что каждый из нас сейчас собою представляет, – внезапно и ясно осознать, что в таком виде к Ленину не ходят, и, по идее, секретарше сейчас надо вызвать Дзержинского, чтобы расстрелять нас тут же, немедленно – за контрреволюционную пропаганду и циничное глумление над трудовым крестьянством.

Какая там сестрица? Какая земляца?! На кой она нам, розовощеким, спортивного вида подросткам?! И эти вывернутые шапки... Задорнов свою снять позабыл, и она, в качестве крестьянского треуха, забавно торчала у него на голове с одним ухом, задранным вверх... Сил на это смотреть не было. Мы стали тут же, посреди эпизода, умирать от смеха. И сознание того, что этого делать нельзя, что речь идет о Ленине, что это святое, – почему-то еще больше смех усиливало. Кто-то из нас, давясь от хохота, отчаянно попытался спасти ситуацию, еще раз начав просить все то же... И все... Это была уже катастрофа, лавина, которую нельзя было остановить ничем: «треухи», запихиваемые в рот, чтобы прервать смех, не помогали; слезы, катившиеся градом из выпученных глаз, лились, к сожалению, вовсе не от того, что у нас не было землицы. Спектакль закончился, не начавшись...

Покрасневшая от гнева и обиды за весь диалектический материализм, за все «Апрельские тезисы», за марксизм-ленинизм вообще и за дело коммунистической партии в частности, – учительница истории вбежала за кулисы и сказала, что этого нам не забудет.

Не этот ли эпизод, думаю я сейчас, был первой идеологической диверсией Задорнова в его богатой идеологическими диверсиями творческой жизни?..

Спустя годы выяснилось, что наша дружба не угасла, подобно большинству детских и школьных дружб, а жила, развивалась и даже крепла. Потом, когда у Михаила был юбилей, я попытался если не все, то многое отразить в небольшом рассказе о нем.

2 × 25, или Русский писатель на фоне Рижского залива

Настоящая фамилия Задорнова – Райтер...

Ну-ну, расслабьтесь, господа сионисты и, наоборот, антисемиты: это всего лишь шутка, имеющая, однако, под собой реальную жизненную основу.

Однажды на съемках одной передачи о книгах, которые осуществлялись почему-то в ресторане, к Задорнову подошла хозяйка этого заведения, крутая дама где-то между сорока и шестидесятью, улыбнулась, сверкая золотом, и попросила автограф. У Михаила с собой ничего не было, кроме визитной карточки, отпечатанной с одной стороны на английском языке. На этой стороне он и расписался.

– А что тут написано? – спросила крутая дама, желая хоть ненадолго продлить знакомство с кумиром своих телегрез.

– А-а, тут по-английски, – рассеянно глядя по сторонам, сказал Михаил.

– А что по-английски? – кокетливо брякнула золотой (опять же) цепью дама.

– Ну... Задорнов, райтер...

Дама замерла.

– Как Райтер? – потрясенно прошептала она.

– Вот так. Райтер. Писатель, значит.

– Я понимаю, что писатель. Кто ж не знает, что вы писатель. Но простите... ваша настоящая фамилия – Райтер? – Тут дама совсем перешла на шепот, вероятно, чувствуя себя резидентом, напавшим случайно на важную государственную тайну. Она округлившимися глазами уставилась на Задорнова, а затем, быстро оглянувшись, напряженно и тревожно спросила: – Вы еврей?..

– Да нет же, – терпеливо объяснил тот, – «райтер» по-английски – писатель. Вот тут так и написано: *Zadornov. Writer*.

Но дама, распираемая изнутри предвкушением сенсации, внимать объяснениям не желала. «Шо я не понимаю? – сияло на ее счастливом лице. – Мы ж свои люди. Задорнов – это для конспирации, а Райтер – это настоящее».

– Так вы не еврей? – уточнила она с лукавством, означавшим, что, мол, меня вы можете не стесняться, говорите, что вы эскимос, я поверю.

Задорнов уже начинал злиться, и дама это заметила.

– А выглядите вы все равно хорошо, – сказала она и отошла. Михаил только руками развел.

«Никогда наша страна не оскудеет идиотами», – вспомнили мы тогда фразу Александра Иванова, ведущего телепередачи «Вокруг смеха», с которой началась задорновская слава. Наши идиоты и их идиотства – питательная среда для всех писателей-сатириков, и Задорнов тут не исключение. Но он умеет все эти перлы подмечать и выявлять так, как мало кто другой, поэтому его слава заслужена и персонифицирована: его интонации, его сарказм ни с чем не спутаешь. Как никто он умеет сделать из политика болвана (впрочем, и наоборот тоже), и совсем не случайно его слава достигла апогея именно в тот момент, когда наша знаменитая перестройка достигла, в свою очередь, абсурда. Он этот абсурд угадал чуть раньше, чем тот фактически состоялся. Такое, кстати, у него часто случается. «Прогноз» Задорнова часто сбывается, и это даже несколько страшновато. А в пик абсурда перестройки Задорнов увенчал его, как елку – верхушкой, своим поздравлением всего постсоветского народа с Новым годом. В полночь. Вместо президента. По телевизору и радио, под бой кремлевских курантов.

«Страна дошла, – шутил он тогда, – сатирик вместо президента». Однако не дошла. Все доходит и доходит... И это – неисчерпаемый источник вдохновения для нашего героя.

Вообще президентам от него достается сильно: и старым, и новым, и, по-моему, даже будущим; причем тогда, когда это вроде как запрещено, и уж во всяком случае – опасно.

Это потом редко кто не пинал М.С.Горбачева, не понимая при этом, что служит живой иллюстрацией к басне Крылова о поверженном льве и осле, который его лягает с наслажде-

нием вчерашнего раба. Однако пока он не был повержен, пародисты и сатирики язвили и иронизировали только по своим кухням, а Задорнов уже делал это на огромных концертных площадках, о чем, скорее всего, сейчас жалеет, ибо Михаил Сергеевич выглядит нынче рафинированным интеллигентом по сравнению с некоторыми действующими «императорами» от политики и экономики. Ну что ж, над ними Задорнов смеется сейчас и вновь, как правило, начинает первым, а остальные собратья по цеху уже потом легко скользят по проторенной им, Задорновым, лыжне. В нем есть и отвага, и злость.

Мне известны все причины раздражения и недовольства Задорновым со стороны некоторых патриотов «чистого» искусства и литературы. Я слышал от них, что он, мол, работает на потребу публике, что временами опускается до пошлости и т. д., и т. п. У меня только одно возражение: эта «публика» составляет сейчас 99 % населения, и надо это признать, успокоиться и перестать кичиться тем, что ты наслаждаешься музыкой Шнитке и перечитываешь ночами Шопенгауэра. И для этих 99 % кто-то должен что-то делать. Правда, тут есть нюанс...

Если уж ты заставил эту публику *всеми* средствами, имеющимися в твоём распоряжении, даже животным хохотом над сомнительными шутками, слушать себя, дальше ты не имеешь права не сделать хотя бы попытки излечения вкуса и нравственности; не имеешь права продолжать кормить её *только* тем эстрадным попкорном, к которому она уже привыкла и который глотает, не разжевывая.

Так вот: Задорнов эти попытки делает. В каждом его концерте есть два-три момента, когда он всех подводит к зеркалу и заставляет посмотреть на себя если не с отвращением, то с испугом. Можно винить всё и всех вокруг, но это путь тупиковый; надо учиться спрашивать с себя. И он эту простую, но крайне важную мысль постоянно старается внушить зрителям, которые с изумительным даже для русского человека мазохизмом ржут над тем, как они глупы, жадны, необразованны или бессовестны. Но в кого-то непременно попадает, и постоянные удары этой мухи об это стекло, как ни странно, все-таки приводят к мельчайшим пока трещинам. Вы думаете, Задорнов не знает, где он заигрывает с залом? Знает, уверяю вас, но он большой хитрец и хорошо понимает, что с этой публикой разговаривать на санскрите бессмысленно; им надо – по-русски и так, чтобы они хоть что-нибудь поняли.

Однако все это мог бы написать совсем посторонний человек, вовсе с ним не знакомый, а мне уже давно пора переходить к тому, что знаю один я с тех далеких лет, когда мы только познакомились и подружились в 10-й рижской средней школе с производственным, видите ли, обучением. Вот почему это была одиннадцатилетка, и в конце ее я, как и Михаил, получил специальность токаря 1-го разряда, чуть не оттяпав себе мизинец кулачком кулачкового патрона, о чем до сих пор имею памятный знак на нем, на мизинце. А его будущей жене Велте, учащейся то же школы, повезло стать чертежницей-деталировщицей, и если бы не это обстоятельство, не знаю, сумела бы она потом защитить докторскую диссертацию и преподавать в МГУ. Да и Мишка тоже вряд ли что-нибудь написал, если бы не его 1-й разряд. Однако если бы это было *самой* большой глупостью в нашей отчизне, то мы все были бы просто счастливы.

Мишка (поскольку мы с вами поехали в детство, я некоторое время буду называть его так, как тогда) жил в семье простого русского писателя Николая Павловича Задорнова. Простого, да не очень, так как он был лауреатом нескольких Сталинских, а позднее Государственных премий и писал основательно, солидно и, невзирая на премии, просто хорошо. Николай Павлович – по традиции всех почти крупных писателей – не любил истерическую сутолоку больших городов, а любил покой и простор. Все это имелось в Риге, поэтому Мишке повезло вырасти там, где много воды, зелени и неба; как, впрочем, и мне, выросшему в семье простого (теперь уже без оговорок) русского офицера-«оккупанта».

Теперь мне, как это ни цинично, кажется удачей то, что наши отцы не дожили до состояния демократии, которое приличные люди называют просто хамством, а не очень приличные – свободой. Крылатая фраза Задорнова о стране «с непредсказуемым прошлым» родом оттуда, из этого детства, из Риги, из жизни его отца Николая Павловича.

Что до «свободы», я думаю, порядочный человек не может быть свободен от семьи, от дружбы, от жалости и сострадания к тем, кто оказался вдруг на обочине новой жизни тихо скулящим от голода и унижения. Забегая вперед, скажу: мой друг Задорнов не свободен от вышеназванного. Он старается помогать. И хотя всем помочь нельзя, он старается. И в силу особенного, интеллигентного, дворянского, я бы сказал, воспитания, старается это делать деликатно, так, чтобы человек этого не заметил, чтобы это его не оскорбило и не выглядело милостыней.

Тридцать пять лет назад он жил в Риге на улице Кирова (сейчас это кажется просто смешным), а я за углом – на улице Свердлова. Мы жили практически в ста пятидесяти метрах друг от друга. Мне было 13, ему – 12 лет. Познакомились в школе. Он всякий раз рассказывает, что, мол, мы играли как-то раз в настольный теннис, и я, проиграв, решил взять реванш, спросив, скольких девочек он уже целовал. Покраснев, он соврал, что одну. Тогда я с нахальством опереточного любовника якобы небрежно ответил, что у меня, мол, за плечами уже 75 оцелованных девочек. В каждом новом изложении количество девочек растет, и на моем аналогичном юбилее Мишка назвал число 86. Но согласитесь, сатирик без гиперболы это хуже, чем песня без баяна, слесарь без зубила и (даже страшно подумать!) токарь без кулачкового патрона.

Так вот. После уроков, домашних заданий, тренировок, став на пару часов свободными, мы встречались на углу Свердлова и Кирова и шли в Стрелковый парк гулять. Угол Свердлова и Кирова у всех мальчишек нашего района назывался «пятак»; именно на «пятаке» назначались встречи, нередко там вспыхивали драки, но, замечу, *никогда* не было драк русских с латышами, да и латышский язык мы учили вполне добровольно с 4-го класса, справедливо полагая, что надо знать язык и культуру того места, где живешь. Я и теперь могу кое-как объяснить на латышском языке, а тогда даже разговаривал.

Сейчас будет набор существительных, которые для многих – ничто, а для нас с ним – всё, быть может, даже лучшая часть жизни; и минимум прилагательных, которые тоже могут вдруг понадобиться...

Итак: парк, старые деревья, канал, по берегам заросший ряской, лебеди, домик, кем-то для них построенный, в котором ни один уважающий себя лебедь жить не станет. (Задорнов потом расскажет об этом домике на концерте, добавив, что на нем висела табличка «Посторонним вход воспрещен», и сопровождая комментариями типа «Посторонним лебедям?..» или «Кому придет в голову лезть в этот домик?») Я, честно говоря, этой таблички не помню, но органичный симбиоз увиденного и затем доведенного до маразма всегда был одним из его основных приемов.) Ну, дальше... Беседка у канала, каменные ступени, слегка тронутые мхом, – вниз к воде; фонтан в глубине парка, никогда не работавший, в виде какого-то каменного идола (у него изо рта должна была бить струя, но я это наблюдал только раз в жизни); скамейки, на которых тогда еще ни один урод не увековечил свое имя; первый поцелуй на этих скамейках со школьными же девчонками – скромный и целомудренный, я бы сказал, сексуальный опыт, призванный большей частью преодолеть застенчивость; нежность, романтизм, сентиментальность, которые стыдно выразить; тени, фонари, запах сирени, стихи Блока; смутное брожение внутри, готовность номер один к любви, которой пока все не было; мучительный и ложный стыд оттого, что выгляжу не так, говорю не так, беру за руку не так, может быть, не нравлюсь, а навязываюсь... Кстати, наверное, пытаюсь изо всех сил освободиться от пут этой застенчивости, мы иногда пускались в совершенно наглые авантюры, которые можно было квалифицировать только статьей «хулиганство».

Однажды Задорнов переоделся в девушку: ему был сделан соответствующий макияж (сестра Мила помогала), были надеты черные чулки (не колготки, замечу, так как это потом сыграло свою роль, вы увидите); подобраны туфли на высоком каблуке и даже какая-то ретрошляпка с вуалеткой.

И пошли мы по улице Кирова к улице Ленина, то есть к центральной улице всех городов страны в то время. Сценарий был пока неясен: помню, мы решили изображать ссорящуюся пару, а дальше – как пойдет. Моя роль была попроще, я все-таки играл юношу, а значит в некотором смысле был ближе к себе. Мишке же было сложнее: туфли жали, ему было неудобно идти на высоких каблуках, кроме того, надо было ломкий юношеский баритон каким-то образом превратить в девичий щебет. Единственным способом, известным нам, было перейти на дискант; это звучало фальшиво и визгливо, но, как ни странно, работало на образ, придавая ему омерзительный оттенок капризности, склочности и вульгарности. Таким голосом можно и нужно было ругаться. В создаваемом наспех образе угадывалась стерва...

И вот пошли... Кстати, о «пошли». Мало того что туфли были на высоком каблуке, мало того что жали, он ведь пытался еще при этом изобразить *женскую* походку. Поэтому, почти хромя, не забывал развязно вихлять бедрами и в манере привокзальной шлюхи мне что-то выговаривать. На нас, вернее, на «нее», стали обращать внимание мужчины. Они, видимо, думали, что «она» сейчас со своим кавалером посорится и тут они ее, тепленькую, и возьмут. Поэтому некоторые просто разворачивались и уже шли за нами, вождельно глядя на задорновские ножки. Положение становилось критическим, игра зашла далеко. И тут у него сполз чулок. Стало совсем конфузно. Шмыгнув в ближайшую подворотню, Мишка задрал юбку и стал его поправлять. Это была уже откровенная эротика с точки зрения трех-четырех мужчин, как бы невзначай остановившихся неподалеку. Один из них, самый наглый, подошел поближе, чтобы лучше видеть. Тут бы мне, наконец, вступить за честь «дамы», но Задорнов меня опередил, он к этому времени уже закипал сам. Вернув подол юбки на место, он нарочито враскоряку пошел на эротомана и, возвратив голос в привычный регистр, этак баском рявкнул ему: «Чё те надо?! Чё те надо? Я вот тебе щас как дам! Пшел отсюда!» Я думаю теперь, что именно из той подворотни выросла песня, ставшая потом всенародным хитом: «Ты скажи, ты скажи, чё те надо, чё те надо. Я те дам, я те дам, чё ты хошь»... Того мужика надо было видеть. Комичное выражение лица человека, который почувствовал, что вот именно сейчас у него поехал чердак и он никак не может удержать его на месте. Мужик затряс головой и попятился от Задорнова, как от привидения. Наверно, долго потом на улице к девушкам не подходил бедный.

Но и это еще не все. Надо было возвращаться домой, и быстро – с чулком отношения не налаживались. Поэтому обратный путь мы проделали бегом, ничего не придумав более изящного, чем чтобы я бежал впереди, а он («она»!), сняв туфли, в одних сползающих чулках – за мной, с визгом: «Когда, сволочь, будешь алименты платить?!» Та еще шуточка! По сравнению с ней сегодняшней эстрадный пошляк – просто Оскар Уайльд.

Но в этой новелле о Задорнове, Риге и школе я не могу не сказать кое-чего о спорте. Как вы думаете, почему в заголовке написано «2 × 25»?

У нас была очень спортивная школа. Все занимались в какой-нибудь спортивной секции или во что-то играли в свободное время. Ну, настольный теннис – это само собой. То, что сейчас Миша играет в теннис большой, – тоже понятно (большому, так сказать, кораблю – большой теннис). Я о том, что в «маленький» он играл виртуозно, может быть, лучше всех в школе, где-то на уровне 1-го разряда. Но в его игре не было присущего мастерам силового напора, а были грация и артистизм; ему было лучше промазать, но ударить красиво. Природная реакция, координация, то, что изначально необходимо всем спортсменам, – тоже при нем, но вот чтоб красиво – это не у всех...

Когда он стоял в воротах сборной школы по гандболу, на это стоило посмотреть, а в пляжный волейбол он играл так, что люди, гуляя вдоль моря, останавливались на минутку-другую полюбоваться этими пластическими этюдами. Вообще он к любой спортивной забаве относился так, будто на него смотрят тысячи зрителей.

Но относиться – это еще не всё, мало ли кто из нас хочет красиво... А у него – получается. С детства и до сих пор. Вы посмотрите, как он одевается, как стоит на сцене, как разговаривает! Какой-нибудь член палаты лордов выглядит, по сравнению с ним, просто хорошо одетым официантом.

Так почему же все-таки «2 × 25», а не сразу – результат умножения? Да потому что все эти спортивные навыки остались при нем, а отчасти даже выросли по сравнению со школьными годами. Ну, как он садится на шпагат в костюме от Ив Сен-Лорана или ходит на руках – это уже по телевизору видела вся страна, поэтому мы на этом останавливаться не будем. Все дело в том, что Задорнов, как это ни странно, сейчас на руках может пройти больше, чем двадцать пять лет назад. Он сейчас может пробежать десять километров, а тогда не мог. Он никак не желает относиться к своему возрасту и тем более – склоняться перед ним, потому что Миша по натуре борец и победитель.

Одна из выдающихся дам XX века, Коко Шанель, однажды заметила, что после пятидесяти человеку столько, сколько он сам захочет. И сколько бы Задорнов ни кокетничал по поводу своего здоровья, сколько бы ни лечился у всяких оккультных шарлатанов, это никак не может развалить его крепнувший год от года организм. Лечиться для него – это что-то вроде хобби. Он никогда не знает конкретно, что лечит, но сам процесс его занимает. И сколько бы медицина, повторяю, ни делала для того, чтобы ему было пятьдесят, – ему все равно – два раза по двадцать пять, и только потому, что свое здоровье он делает сам.

Итак, мы в Риге. Выяснилось, что этот парк, казавшийся тогда целым миром, можно обойти за пятнадцать минут. После Москвы все кажется таким маленьким. Да Рига и в самом деле декоративно-маленькая. Но по-прежнему красивая. *Skaista*. «Скайста» – напишу-ка я *по-латышски – русскими* буквами...

А в Юрмале – дачи забиты, большинство домов отдыха – закрыто. Той танцплощадки, на которой мы с Мишкой в первый раз в жизни познакомились со взрослыми девушками, кажется, вовсе нет. А если и есть, то не найдешь... А если и найдешь – то стоит ли?.. Есть доля иронии в том, что они оказались москвичками и мы потом приехали на каникулах к ним в Москву. Так нас там и ждали... Влюбленные школьники, мы не знали тогда, что в столице, в чаду мегаполиса – совершенно другая жизнь, мы оказались вовсе не нужны: ни этим девушкам, ни этому городу. А там, в Юрмале, все казалось таким возможным, влюбленность была так близка, и глупая музыка так играла...

И что сейчас?.. С Москвой он, мягко говоря, разобрался. Да и я отчасти – тоже. А Рига и Юрмала остались. Внутри. А у него еще и снаружи, потому что там у него мама, родные, и он часто там бывает. По этому поводу я ему даже чуть-чуть завидую...

Тут, знаете ли, есть какая-то очень личная гордость, свое достоинство в том, что мы выросли не в московских коробках, а в этих причудливых, похожих на декорации к сказкам Андерсена домах и на этих улицах; что дышали неповторимой смесью моря, сосен и свежести, а не выхлопными газами Тверской улицы; что плескались в детстве не в Останкинском пруду, а в Рижском заливе.

– Вы откуда? – спрашивают меня.

– Из Риги, – отвечаю я небрежно и ловлю себя на нелепой (особенно теперь) гордости, что я оттуда. Будто я сказал, по меньшей мере, что из Парижа...

Я люблю этот город и все, что связано с ним. Но центрального персонажа этого (уж и не знаю, как назвать) произведения я люблю особенно: вероятно, как часть собственной души, представляющую собой тот пестрый коктейль, с которым вы постепенно знакомитесь...

Однако оставим душу: материалист Задорнов, в детстве чемпион районных и городских математических олимпиад, этого не поймет. Стало быть, в моем сердце... Нет, опять не то, он же спросит, а где конкретно? Ну хорошо, в моем мозгу (уж там-то столько таинственных мест, что анатомия пасует), в дремучих лесах моего сознания и подсознания – есть поляна Задорнова. Или лучше – «Мишкина поляна»... Она там всегда есть. Она не может быть никем занята, на какие бы сроки мы ни разлучались. И он там сидит – строгий, подтянутый, красивый, 25-летний...

– Мишка, – говорю я ему, – давай в длину с места прыгнем, как тогда на пляже. Кто сейчас дальше?

– Давай, – говорит он.

И мы прыгаем... В одну сторону...

Тут уже упоминалось, что Михаил был победителем нескольких математических олимпиад, а затем учился в двух технических вузах, что свидетельствует об определенном складе ума. Он будто заранее просчитывает успех у публики. Так поступает не он один (а например, и Петросян), но разница в том, что другие работают только на сегодняшний успех – а иногда даже на вчерашний, – полагая, что бородатые шутки про тещу и алкоголь актуальны всегда; и, к сожалению, перед определенной аудиторией, которая среди эстрадников именуется «народом», метод срабатывает. Подавляющее большинство такого «народа» (а телекамера нам их показывает) представляет собой особенное скопление удивительно некрасивых лиц, часто испитых и с плохими зубами, которые особенно видны, когда зрители смеются над всем тем, что им впаривают с эстрады. Они исступленно ржут над шуткой, от которой человеку, прочитавшему в жизни хотя бы дюжину книг, становится нестерпимо стыдно, как если бы он сам эту хохму произнес.

Задорнов же работает словно для какого-то другого народа. У него в зале сидит другая публика. И шутит он часто не как вчера, а как завтра. Математический ум безошибочно подсказывает ему, как можно посмеяться не только над прошлым, но и над будущим. Таким образом математик, в тесном содружестве с сатириком и артистом, всегда строит, как он сам выражается – «смехограмму концерта». Эти способности распространяются не только на собственные концерты, вообще на всё. Однажды он выразился по поводу одного певца, что у него, мол, песня стоит на месте. Нет развития. Надо строить график песни – кривую.

Однако приходит время, когда ему все это надоедает, он совсем останавливается и бросает концерты, искренне надеясь, что навсегда. Тогда Михаил говорит вещи совершенно нетипичные для него: «У меня сейчас нет концертов. Концерты мешают созерцанию жизни». Строит на своей даче пирамиду размером с небольшой дом и в ней спит. Иногда пишет. Пирамида, считает он, – особенный концентрат особенной энергии, которая помогает человеку правильно жить и мыслить. Затем артистическая составляющая его натуры берет свое, и концерты возобновляются. Тем более что «созерцание жизни» денег не приносит. Наоборот, на созерцание жизни их надо тратить, и чем больше созерцаешь, тем быстрее они тают.

В последнее время мой друг всерьез увлекся лингвистическими изысканиями и историей России в соотношении с историей других стран.

И, согласитесь, что это куда лучше, чем посвящать всю жизнь анекдотам из рюмочных, кривляньям и ужимкам. Тем более когда тебе уже «2 × 30».

Про Филатова Бурные, продолжительные...

...хотите – овации, хотите – аплодисменты, подходит и то и другое. Ими был встречен Леонид Филатов, когда впервые вышел на сцену после пятилетнего перерыва. Это происходило на сцене театра «Школа современной пьесы». Идея собрать авторский вечер пишущих артистов принадлежала руководителю театра Иосифу Райхельгаузу. И вечер этот, надо сказать, более чем удался. Билеты были проданы задолго до намеченной даты, и зал был набит битком; люди стояли в проходах, а те, кто не проникли внутрь, слушали из коридора. Ну еще бы! Как заманчиво было увидеть и услышать знаменитых артистов: Гафта, Юрского, Дурова, но не в их традиционном актерском качестве, а в другом, литературном. Идея была бесспорно удачной и еще добавила очков репутации театра, проводившего на своей сцене вечера Окуджавы, а также бенефисы Татьяны Васильевой или Михаила Глузского и другие не менее благородные мероприятия.

Однако еще одна навязчивая, но плодотворная идея билась в предприимчивых головах организаторов: как бы затащить на этот вечер, на эту сцену Леонида Филатова, который в литературно-творческом смысле был просто обязан украсить собой эту компанию, а вот в физическом смысле – не мог. Вернее, думал, что не мог, а на самом-то деле – смог, хотя и чувствовал себя слабо, неуверенно и очень нервничал: ведь он целых пять лет на сцену не выходил. Леонид отказывался, не хотел, боялся, но в конце концов его удалось уговорить. Ему объяснили, что на сцене будет стоять стул, он будет читать сидя и, если хочет, даже курить, перед ним поставят столик с микрофоном и пепельницей, то есть будет самая привычная и комфортная обстановка. Райхельгауз, ненавидящий курение, шел даже на это, смирившись с тем, что Филатов без сигареты – такой же нонсенс, как Пушкин без Дантеса.

В общем, без охоты и тем более без куража, но Леонид согласился. И вот, когда его объявил Дуров, началось то, что обозначено в заголовке. А потом весь зал встал и хлопал стоя. Долго. Ему все были благодарны за то, что он в очередной раз себя преодолел и вышел на сцену. Еще несколько минут они так и стояли друг перед другом – благодарный зал и благодарный ему за этот прием Филатов. А потом он прочел два отрывка из своей новой стихотворной пьесы «Лисистрата», после чего опять начались бурные, продолжительные аплодисменты.

Я хорошо понимаю, что сам Леонид расценивал это свое выступление как равноправное партнерство, как обычное участие в концерте наравне с другими артистами-литераторами; и это еще в лучшем случае, потому что ему свойственно постоянно принижать свое значение в истории русской литературы 60-90-х годов, в развитии изящной словесности и поэтической драматургии, которая никак не хотела развиваться со времен Грибоедова. (Ух, он мне и даст за эти фанфары! Я так и слышу, как он тут покроеет «свое значение в русской литературе» отборным непечатным текстом. Поэтому я специально и окрасил весь этот пассаж ироническим пафосом. Почти шутя... Однако в каждой шутке есть сами знаете что...) Чаще всего свое место в русской словесности Филатов принижает следующим образом: свои стихи он все время называет «стишками», а каждую новую пьесу в стихах – «фигней» (он, конечно, вместо «фигни» употребляет более сильное выражение. Так вот равноправное в лучшем случае партнерство – это его позиция, его личное мнение, однако мне доподлинно известно, что большинство людей рвались на этот концерт только для того, чтобы увидеть Леню и вот так ему похлопать.

Все оказалось так хорошо, что он тут же согласился и на второй концерт. Который и состоялся почти в том же составе 2 июня. Не было только Дурова (он уехал на гастроли), но зато появились Рязанов и Шендерович. Этот вечер, столь же успешный, как и первый, был

несколько омрачен передачей Райхельгаузом денег Филатову, что сладострастно и подробно описывалось по ТВ в новостях культуры, так что эта акция выглядела просто-таки центральным событием культурной жизни страны. Да, действительно, это был бенефис Леонида, а на бенефисе, как известно, весь сбор – в пользу бенефицианта. Это обычная практика, а не исключение, и представлять его бенефис как некую благотворительную акцию, сбор денег на лекарства – по меньшей мере дурной тон. Тем более что Леня вполне прилично зарабатывает себе на лекарства литературным трудом: книги издаются, пьесы покупаются; так что – спасибо, конечно, за вашу доброту, но вот так – лучше не стоит...

Да и вообще, делать добро, я думаю, надо скромно, а не трезвонить об этом на весь белый свет. А наше ТВ очень любит поговорить о доброте, не затратив ничего, и еще порассуждать о нравственности, будучи по большей части абсолютно безнравственным. Редчайшие исключения бывают, конечно: например, передача все того же Филатова «Чтобы помнили», но это так, случайный траурный цветок посреди помойки. А деньги, к которым наше ТВ отнеслось с таким вниманием, что деньги?.. К ним Филатов всю жизнь относился без трепета. Да и сумма, переданная в рублях и далеко не в самых крупных купюрах, а поэтому имевшая вид весьма внушительного пакета, между нами говоря, рассмешила бы не только Березовского, но даже Якубовича. ТВ, однако, решило подчеркнуть этот псевдонравственный аспект и сфокусировать наше внимание именно на нем, еще раз подтвердив, что мы в рынок не вошли, а вползли. На коленях и просительно поскуливая.

Ну да бог с ним, не будем о плохом. Ведь главным-то было другое: то, что Леня появился на сцене, хотя больше на это не рассчитывал, то, что этого вроде как и не должно было случиться, а все ж таки состоялось. С чем мы его от всего сердца и поздравляем! И знаем теперь, что он будет выступать еще и еще, и разговаривать будет лучше, и чувствовать себя бодрее и увереннее, и смеяться будет чаще, и напишет целую кучу своей так называемой «фигни», которая многих еще удивит и обрадует. А все, кто его любит, ему в этом помогут.

Бело-розовая пастила для Леонида Филатова (К 50-летию Леонида Филатова. Постъюбилейный десерт)

Почему-то в студенческие годы из еды Филатов больше всего ценил рыбные палочки и бело-розовую пастилу – самые дешевые, неприязнательные и даже оскорбительные для гурмана продукты.

Это загадка... Быть может, эти палочки были неким фаллическим символом, ироническим предзнаменованием того периода, когда наша бедовая журналистика приклеила к нему ярлык секс-символа, супермена и черт знает кого еще, на что Филатов реагировал с комическим ужасом: «Что они, с ума посходили, что ли?! Я ведь и не на каждом пляже рискую свое тело показать». Написать о нем в этом роде значило примерно то же, что однажды Жванецкий сказал о знакомом писателе: «Он из всех писателей – самый красивый».

Суперменство было у нас тогда не в цене. Даже деньги были не в цене. А в цене были ум, талант, достоинство, поступок... Еще можно вспомнить древнерусское слово «честь». Ну, чувство юмора еще... Да и как иначе, если нашим учителем была вовсе не жизнь, а лучшие образцы литературы. А это бесполезно и даже драматично для учеников. Из них выходят идеалисты, рыцари, борцы за справедливость, поэты и влюбленные идиоты – словом, мусор, который в сегодняшнюю жизнь вообще не вписывается. Хотя допускаю, что когда-нибудь, в необозримом будущем, вдруг выяснится, что в России и не было ничего лучше литературы и искусства.

И Бог именно в этой области дал Филатову несколько дарований. Он поэт, драматург, артист и режиссер, и в каждой из этих ипостасей он – профессионал. И в каждой из этих профессий он совершает поступки, что, собственно, и отличает мужчину от не совсем муж-

чины. Многие ограничиваются нытьем. Например: «Что это у нас за страна такая, где никто никого не жалеет, никто никого не помнит». А Филатов придумывает, а потом берет и делает передачу с яростным названием «Чтобы помнили». И если забыли – то он заставит вспомнить. Температура его любви или ненависти всегда была очень высока. Если ненавидел, то даже как бы вскользь брошенная метафора, к тому же окрашенная фирменным ядом Филатова, могла человека попросту уничтожить, потому что Леня бил именно в то место, которые человек пытался скрыть или приукрасить.

О, этот яд производства Филатова! Кобра может отдыхать, ей там делать нечего. Поэтому собеседники, начальники и даже товарищи чувствовали некоторое напряжение, общаясь с ним. Хлопая по плечу – побаивались и уважали. Уважение было доминирующей чертой всех последних праздников в честь Филатова. Государственная премия, или юбилей в театре, или премия «Тэффи» – все вставали. Весь зал! И было ясно, что если кто-то его и не любит, то нет ни одного, кто бы не уважал.

Много лет назад большой русский поэт Евгений Баратынский подытожил свои размышления о цели творчества. Или даже жизни. «Дарование есть поручение, и должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия». Часть этих поручений Филатов исполнил. Как актер, в первую очередь. Меньше – как режиссер и поэт. Исполняй, Леня. Как можно лучше! И как можно дольше. И мы все еще не один раз крикнем тебе: «Браво, Филатов!»

Про Эфроса (На вечере его памяти)

Трудно говорить об Эфросе в присутствии главных фигурантов его творческой биографии. То, что для нас – студентов театрального училища им. Щукина Леонида Филатова, Кайдановского, Руслановой, Галкина, меня – он был Богом искусства – это понятно. Что всю его команду мы считали небожителями – тоже ясно. Были, как известно, два театра, в которые в ту пору ломались, – Таганка и Ленком, а уже затем Театр на Малой Бронной. Странно, два совершенно разных театра – и невероятный успех у обоих. Театр Любимова с его агрессивной социальностью и театр Эфроса, занимавшийся исследованием движений человеческой души. Оба подвергались преследованиям, в обоих запрещали спектакли.

Почему безобидное направление искусства Эфроса бесило власти? Видимо, изучение внутреннего мира человека, поиск правды, красоты, гармонии, благородства, вкуса не менее опасны для государства, чем прямая борьба за свободу в другом театре. Я вот часто думаю, что остается после артиста и режиссера. Да мало что остается. От Мейерхольда – воспоминания современников, литература, фотографии, утверждения, что он гений, которые мы должны принимать на веру, так как сами спектаклей не видели. От Вахтангова – то же самое плюс традиции, свято соблюдаемые театром по сей день. От Станиславского – букварь для начинающих артистов, катехизис в освоении профессией. Что от Эфроса? Несколько книг, несколько фильмов, которые не отражают полностью того, что он умел делать каким-то волшебным образом. Казалось бы – маловато. Может быть, не скажу ничего нового, хотя, кажется, об этом никто не говорил: выросло несколько поколений, видевших «Месяц в деревне» и потому – ставших *другими*, воспитавших своих детей по-другому. Меня его репетиции тоже изменили. После него я стал другим.

И тогда придет Эфрос

«Ах, господа, господа! Вглядитесь в меня внимательней, поднимитесь над своей узостью, озабоченностью, равнодушием, пересильте свою глухоту, услышьте меня. Не станет меня, и Царское Село, отечество Пушкина и всей его плеяды, дивная раковина, где вызревал жемчуг русской поэзии, станет просто мещанским городишком, под боком дряхлеющих садов, забывающих собственную легенду. И о вас, господа, вспомнят лишь потому, что вы были моими соседями и современниками. О, сколько слепоты, глухоты, необъяснимой тупости, сколько жестокости, рассеянности, невнимательности, ослиного упрямства и непросвещенности несет в себе слово “современник”!»

Юрий Нагибин (из романа об Иннокентии Анненском).

Что остается после режиссера или актера, даже названного впоследствии великим? Воспоминание, легенда, улица или переулок его имени? И это в лучшем случае, ибо прерогатива нетленного – всегда за литературой, музыкой или живописью, выраженных предметно – в словах, нотах, красках. А что за создание спектакль? Это как возведение воздушного замка или карточного домика: вот он построен, вот он виден, вот он в цвете и звуке – кончился и рассыпался...

Как удержать, зафиксировать хрупкую интонацию Яковлевой, подвижную и плотную, как ртуть, энергетику Дурова, драматическую смурь и изящную неуклюжесть Волкова? Я нарочно употребляю, казалось бы, несовместимые слова, так как изящная неуклюжесть воз-

можно была только в его, Эфроса, спектаклях. На пленке не получается: что-то главное уходит, не берет его целлулоид. Даже в книгах самого Мастера – тоже не получается, потому что бессильно слово перед аурой живого спектакля. Перед тем полем, которое создавалось на два-три часа, чтобы постепенно погаснуть с огнями рампы, но еще долго светить в глазах и душах людей, посмотревших, скажем, эфросовский спектакль «Месяц в деревне». Как удержать и зафиксировать искусство сиюминутное, творящееся на наших глазах, столь же быстротечное и прекрасное, как тихо падающий снег? Каждый, наверное, испытывал такие острые, чувственно-прекрасные моменты в своей жизни, которые хотелось удержать, внутренне сфотографировать и спрятать в альбом. А они ускользали. И пойманная в ладонь снежинка неизбежно превращалась в воду.

Эфрос когда-то написал книгу «Репетиция – любовь моя». О, эти репетиции! Когда зрителями и ценителями его фантазий, полетов и импровизаций были всего два-три актера. Мы несколько месяцев репетировали «Лето и дым» Теннесси Уильямса практически втроем: Эфрос, Яковлева и я. Меня он пригласил на роль Джона в Театр на Малой Бронной.

Наверное, я запомнил Эфросу тем, что в честь его визита в Московский ТЮЗ совершил подвиг, сыграв спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» с температурой сорок. Хотя для меня в том была своя тщеславная корысть: я знал, что эту работу делаю неплохо. Мне очень хотелось блеснуть перед Эфросом, который для меня, тогда еще совсем молодого артиста, был сутью искусства. Грузинский режиссер Г.Лордкипанидзе, который ставил у нас этот спектакль, в тот вечер пришел ко мне в гримерную вместе с завтруппой, директором и помрежем. Я лежал на диванчике, а возле меня еще хлопотали врач и медсестра скорой помощи. У всех в глазах застыла странная смесь сострадания и решимости упрямости просить меня пожертвовать собой. Григорий Давыдович наклонился ко мне и выдохнул с убедительной мольбой, еще более выразительной при его грузинском акценте: «Пришел Анатолий Васильевич Эфрос. Я, канэчно, тебя не заставляю. Но мнэ это тоже очень нужно. Будэшь играть?»

И я играл. Это было полубоморочное состояние. Насчет блеснуть – это я, конечно, размышлялся. Но в спектакле было несколько беспроницательно смешных сцен, и я впервые со сцены услышал, как смеется Эфрос. А потом улучил момент, когда у меня была большая пауза, и посмотрел. До этого я никогда не наблюдал Эфроса вблизи. Первое, что я увидел и услышал, – его смех: заразительный детский хохот до слез. Представьте себе два ряда абсолютно белых и ровных зубов, высокий лоб и куда-то назад летящий чубчик седых волос.

Прошло семь лет, и он меня позвал. Если бы Эфрос меня пригласил на эпизод, я бы и то побегал. А тут – «Лето и дым», да еще пьеса Теннесси Уильямса, да еще и главная роль, да еще с Ольгой Яковлевой. И началось...

Я думал, что-то умею. Главные роли уже были, вкус успеха, например, в спектакле ТЮЗа «Три мушкетера», мне уже был знаком. Но через несколько репетиций стало ясно, что сейчас я занимаюсь искусством высшей пробы, что между тем и этим – такая же разница, как между зеленым чешским стеклом и изумрудом. Это все еще предстояло освоить. Но школа была легкой и изящной, как и сам эфросовский талант. Мне тогда казалось, что Эфрос может научить играть даже пень, настолько понятно он все объяснял, а если надо – показывал, пропуская все через себя, проверял, в правильном ли направлении движется. Он так внедрялся в этот показ, что однажды, проверяя Олину линию (а я подавал ему реплики), очень смешно, но совершенно не замечая этого, говорил за нее: «Так, я пошла сюда» или «И тут я сказала».

Кто-то из артистов, еще до того как я начал работать с Эфросом, с восторгом рассказывал, как он репетировал сцену. У актера совсем не получался монолог, в котором звучала досада на свою пропадающую жизнь и на общество, в котором он живет. И тогда Эфрос сказал: «Вам душно. А все окна в этой комнате закрыты. Вы пытаетесь открыть это окно, а там что-то заело, и вы его дергаете, дергаете – и никак. Весь свой монолог кладите на это действие,

всю вашу злость и досаду – на это проклятое окно». И у артиста сразу пошло, все получилось.

Эфрос на репетициях мог запросто отказаться от находки, за которую другой режиссер уцепился бы и довел до премьеры. А расточительный Эфрос с поистине моцартовской легкостью отмахивался: «А-а! (небрежный взмах рукой). Завтра придумаем что-нибудь другое». И назавтра происходило что-то иное. Если не лучше то, во всяком случае не хуже вчерашнего.

Он возвращал артиста к исконному смыслу профессии, к ее радости – игре. «А давай попробуем так. А если наоборот, если она так, то ты как?» И артисты на время становились детьми, как и он сам. Настолько занимателен был этот процесс, столько было в нем кайфа (кайф для меня – нечто среднее между удовольствием и счастьем: удовольствие в этом случае – слишком слабо, а счастье – слишком сильно), что конечный результат – когда уже есть зритель, когда премьера – становился как бы неважен. Мне было жаль зрителя, который не участвует вместе с нами в этой игре. Но... каждому свое. У зрителя свой кайф. Он сначала увидит все извне, а потом его сделают соучастником спектакля. Придут катарсис, смех, слезы, радость и горечь узнавания себя в той или иной ситуации. И еще будет ощущение того, что тебе преподали урок вкуса. Эфрос, как никто, умел дать столько, сколько надо, чтобы зрителю еще осталось додумать и допереживать, чтобы осталась счастливая возможность об остальном догадаться самому. В том, что делал Эфрос, не было конкретики, определенности борцов за народное счастье. Нет, он далеко не борец. Он плакал, когда у него отбирали Ленком...

Было бы неплохо, если бы наши начальники, те, что отнимают и раздают театры, не относились бы каждый к себе как к мессии, а к своим делам – как к миссии. Они не жалеют и больно бьют, а иногда и промаргивают художников-неборцов. С борцами-то как раз все в порядке: они – свои, даже если в оппозиции, группа крови – та же. А вот неборцы – те чужие, как правило, все о вечном, дурачки малахольные, а нам сейчас надо, «вчера было рано, а послезавтра – поздно».

И вот такой неборец Эфрос попадает в Театр на Таганке, в театр окрепших и закаленных в борьбе за место под солнцем людей. Представьте себе, что георгина по идиотской прихоти судьбы попадает в заросли крапивы. В этой истории нельзя искать виноватых. Нельзя учить крапиву цвести и пахнуть, у нее другие достоинства. Она выживает в тяжелых условиях, кусается, растет высоко и мощно, и из нее получается чрезвычайно полезный, полный витаминов крапивный суп.

Эфрос был другим. Когда он пытался стать борцом, эдаким крапивным георгином – ему это так не шло, что сразу становилось ясно: не его язык, не его метод, не его искусство, не его среда. Он потерял почву под ногами. И умер.

Может, кто-то сочтет эту аналогию дерзкой, но я намеренно ставлю в один ряд (по качеству таланта, по веселой легкости и естественности): Моцарт – Пушкин – Эфрос. Пушкин тоже иногда воображал себя борцом: и руку тренировал тяжелой тростью, и стрелять учился, фехтовал здорово. И ребячески высоко ценил эти умения в себе еще и потому, что они были непреходяще важными в глазах света, который он уважал непонятно за что. Насколько же этот борец оказался ранимым и не защищенным от грязной сплетни, от того, как он выглядит в глазах света, от пошлейшей насмешки, пусть даже воображаемой! Вот и Эфрос поднимал тяжести и иногда воображал себя борцом, чувствуя, наверное, что на земле, где он живет, это качество необходимо.

Я все ищу определение эфросовскому дару. Мне все время хотелось его каким-то словом назвать. И теперь я знаю: талант Эфроса был грациозен. В живописи есть борец – Микеланджело, и неборец – Модильяни, и в музыке есть борец Бетховен, но есть и Моцарт – неборец. Да и в режиссуре мы знаем борца Ефремова и вовсе не борца Виктюка. И нет необ-

ходимости уничтожать одних, чтобы жили другие. Хотя по какому-то дьявольскому закону грациозный талант, идущий своей дорогой, погибает первым. Ибо он – мешает, ибо он – бесконечный и мягкий упрек всем кусающимся, царапающимся и крикливым. Но ничего, ничего... «Ни словечка, ни улыбки – немота. Но зато... дуэт для скрипки и альта», – как в стихах Давида Самойлова о Моцарте.

Поэт Алексей Дидуров рассказал мне однажды, как Эфрос говорил ему: «Вся страна наша похожа на книгу о вкусной и здоровой пище. Все знают, как приготовить прекрасный торт или вкусный борщ, но почти никто по этой книге не готовит. То есть мы живем в стране, где нам все время досконально объясняют, как жить чисто, богато, светло, дружно, но никто так не живет. Потому что наш народ делает то, во что верит, а верит тому, что видит. У меня счастливая профессия. Никого ничему не уча, я могу все показать. И мне поверят. Поэтому “Отелло” я буду ставить так: в начале спектакля амфитеатром посажу всех участников, чтобы зритель их подробно разглядел. А в конце спектакля на этом месте останется один Яго, а сзади него – пустые места. Людям все время объясняют, что нехорошо предавать благодетеля, обманывать, разбивать семью, и все слушают и кивают головами, а потом опять предают, обманывают и разрывают. А я покажу. Покажу, что получается, когда предают и обманывают. И все увидят и поверят».

Это каким же надо быть светло-наивным человеком, чтобы так говорить! Насколько же надо быть *над* нашей помойкой, чтобы сказать: «Я покажу, и мне поверят»! И знаете, в этом есть своя высшая правда. Она заключается в ответе на вопрос, поставленный в начале главы: что остается после режиссера? Остается немного. Всего лишь несколько поколений людей, видевших эти спектакли и благодаря им изменившихся, воспитавших затем своих детей по-другому. И вот вам абсолютно материальное воплощение эфемерного, воздушного искусства театра. Эфрос показал не то, во что нас бесконечно тычут сегодня, – как жить нельзя. Он намекнул нам, как жить надобно. Наметил если не конечную цель, то направление, неустанное стремление к красоте, добру, гармонии – к Богу. Он развивал в нас еще один орган чувств. Быть может, кому-то он и не нужен, но это жертвенная, созидательная работа на отдаленное будущее, на которое всегда надеются люди высокого творческого полета.

Он любил и чтит Феллини. Я думаю, даже был похож на него, как похожа последняя улыбка Ольги Яковлевой – Альмы в спектакле «Лето и дым» на прощальную, в финале фильма, улыбку Кабирии – Джульетты Мазины (это улыбка, извиняющаяся за то, что жизнь прошла, прошла, как дым; извините, что я плачу, и надо ведь жить, надо как-то жить дальше...). Как похожи грустные клоуны Феллини на клоунов Эфроса! Разве это не грустные клоуны в том же спектакле «Лето и дым», в литературном кружке, куда Альма приводит Джона, и где все кончается так неудачно, где у каждого маленького персонажа своя незадавшаяся жизнь, и спасаются они только литературой и своими собраниями? Разве не теми же клоунами населен был изумительный спектакль «Женитьба», где все грустное настолько смешно, а все смешное – так грустно?..

Вот я сижу в зале и смотрю «Джинджер и Фред» или «Месяц в деревне». Я даже не могу уловить момент, с которого все началось. Когда меня начала затягивать эта таинственная, мощная магия, когда я стал соучастником этого действия, когда начал переживать, с каких пор у меня мокрое лицо, и я даже не очень понимаю – почему? И вот уже моя душа, очищенная непостижимым образом от всего, что находится за пределами этой театральной коробки – от смрада и грязи, от злобы и невежества, от... боже мой! да от всего того, что *там*, – моя бедная душа стонет и мается и спрашивает вновь и вновь: зачем я родился? Как приходит и куда уходит любовь? Для чего мы живем? Отчего так быстро проходит жизнь, а мы так и не успеваем понять, что такое красота и счастье?! Я тихонько смотрю влево и вправо, мне неудобно, что я так раскис, и вижу, что слева и справа – то же самое: у всех заплаканные и несколько смущенные лица. Нам всем слегка неудобно, нам стыдно за то, чем, в сущности,

надо бы гордиться, за то, что наши души умылись наконец и открылись навстречу небесной музыке добра и сострадания. И все это – через узнавание, через призму собственной жизни, к которой у нас столько вопросов. Как это сделано?! «Уму непонятно!..» Разве только сердцу. Искусство такого ранга, такого класса – прямой проводник от Бога к человеку, прямое обращение Его к нам.

Абсолютно точно утверждение, что писатель всю жизнь пишет одну книгу. У Чехова, столь любимого Анатолием Васильевичем, в «Вишневом саде» Аня мечтает «насадить новый сад, роскошнее этого». В «Дяде Ване» Соня верует, что «мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах». И наконец надеется Вершинин в «Трех сестрах», «что все же вы не исчезнете, не останетесь без влияния. Таких, как вы, после вас явится уже, быть может, шесть, потом двенадцать и так далее, пока наконец такие, как вы, не станут большинством. Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной».

Понадеемся же и мы, что не будет равнодушия, слепоты и глухоты к прекрасному, не будет невыносимой тупости и откровенной жестокости, не будет ослиного упрямства, идущего рука об руку с невежеством. Не будет!

И тогда... придет... Эфрос!..

Про Высоцкого

Гори, гори, его звезда...

Когда твоим именем названа звезда – это уже серьезно. Когда твоим именем не назван даже завалящий астероид, но ты сам называешь себя «звездой», и все в твоём тусовочном бульоне называют друг друга «звездами» – это совсем несерьёзно. Но мы настолько к этому привыкли, что нам даже не смешно, как становилось смешно, скажем, при виде четвертой или пятой Звезды Героя у Л.И.Брежнева.

У нас есть популярные и хорошие артисты, есть популярные и плохие, вторых – значительно больше. Но и те и другие называются «звездами», особенно – популярные и плохие. У них какое-то особенное свое сообщество, со своими законами, вкусом, лексикой слов в пятьдесят, помимо междометий, а из этих пятидесяти тридцать – новый русско-американский сленг, причудливая смесь Брайтона и зоны; свои шутки, не смешные остальным, более образованным людям; свои девушки, спутницы-маркитантки, свои поклонники, свои журналисты – короче, своя тусовка, за пределами которой им ничего не интересно.

Такое ощущение, что они ничего не читают, кроме рецензий своих журналистов на свое же «творчество», впрочем, это ведь не рецензии, а, скорее, эпизодические жизнеописания, подсмотренные, как правило, через замочную скважину спален. Эти наши звезды с их личными астрономами, в своем личном космосе, бедные, даже не подозревают, что и они не звезды, и мир их – далеко не космос, а аквариум, в котором они, рыбки наши золотые – гуппи и неоны – резвятся, искрятся, кокетничают и позируют. А за аквариумом в это время следят их продюсеры. Именно они меняют в нем воду и сыплют рыбкам корм. Захотят – подсыпят, захотят – нет, а могу и вовсе рыбку выкинуть и заменить новой...

Ну а те, астрономические, звезды даже понятия не имеют о том, что они звезды. Светят себе и все. А свет их, даже если они умирают, на Земле видят еще долгие-долгие годы. Вот так и с Высоцким. Он бы, наверное, поморщился, если бы его назвали «звездой».

«Работаю – и точка, песни пишу, роли играю». Я сейчас лишь фантазирую, представляю себе, что бы он сказал, но, в сущности, какое я имею право о нем высказываться, когда я даже и знаком-то с ним не был. Так, поздоровался пару раз, когда уже совсем вблизи оказались, когда не здороваться было просто неудобно. Ну, например, зашел когда-то в гримерную Леонида Филатова на Таганке, а там – он. И не пытался познакомиться ни разу, хотя однажды видел, что он сам хочет познакомиться.

Был в моей жизни период, когда я баловался пародиями, и получалось это настолько успешно, что меня всюду, где бы я ни выступал, просили их исполнить. В числе прочих была пародия и на Высоцкого. И вот однажды на каком-то сборном концерте я пел несколько своих песен на стихи Филатова, а завершал выступление пародиями. И когда пошел выступать, вдруг увидел, что за кулисами стоит он, Высоцкий. Приехал, видимо, с кем-то из артистов, сам выступать не собирался. А я уже знал, что ему нравятся некоторые наши с Филатовым песни, «Полицай», к примеру, и опозориться перед ним не боялся. Но насчет пародий сомнение, помню, у меня возникло: исключить пародию на него или не петь их вовсе? Но я выбрал вариант третий и самый наглый – я спел все. Успех был. И, как обычно, большой. Поскольку пародии, как известно, – один из любимейших нашим народом жанров. Ну, любит наш народ, когда прикалываются, передразнивают и подначивают.

Словом, был успех. И поплыл я на гребне своего триумфа за кулисы. А там Высоцкий стоит. И смотрит на меня с каким-то жадным любопытством и, как мне показалось, с оттенком жалости, как на некое пестрое насекомое, которое вдруг заговорило. Я тогда гордо,

поскольку за спиной звучали еще овации, продефилировал мимо и только спустя много лет понял, что овации не имеют того значения, которое мы им придаем, что можно, оказывается, спеть «мальчик хочет в Тамбов, чики-чики-та» или «неужели это я, девочка с огромным бантом» – и иметь овации. Можно без тени смущения шутить со сцены на уровне «торта в морду» или голого зада – и срывать овации. И если озвучить сожаление, мелькнувшее тогда в его глазах, то оно выглядело бы так: «Господи! Какой же хуйнёй человек занимается, уже имея такую песню, как “Полицай”!»

Но вот то самое жадное любопытство (с которым, я догадываюсь, он всегда вглядывался в мир), наверное, тогда давало мне право и поздороваться, и познакомиться. Я этого не сделал. Жалею? Нет. К нему уже и тогда была большая очередь, я уже не говорю о «потом», а я очередей всегда избегал. Но главное – мера моего уважения к этому человеку была такова, что я не смел лезть, грузить его еще и собой.

Вы заметили, что о своем пути в шоу-бизнесе часто говорят: «мое творчество»? Еще немного и скажут: «мой гений». Хотя шоу-бизнес и творчество друг другу почти противопоказаны. Математически вычислены рычаги успеха, и – вперед с песней! И один из рычагов именно этот: если публику интересуется не то, что, как и зачем человек делает, а то, с кем живет и сколько пьет, – ну так давайте ее этим и накормим.

Слава Богу, Высоцкому это было не нужно, ему не нужно было разогревать свою популярность ничем, кроме новых песен и ролей. Все остальное двигалось автоматически, помимо него, обрастая все новыми мифами, легендами, анекдотами и скандалами. А он просто работал, выдавая одно время по песне в ночь, и рейтинг его не заботил. Только: что, как и зачем! Можем мы сегодня назвать хоть одну «звезду», которая бы не беспокоилась о рейтинге популярности? Ну если и назовем пару человек, то это будет исключение из общего правила и указание на то, что они-то и являются настоящими артистами. У остальных – если рейтинг падает, значит, его надо искусственно подогреть. И как тут не вспомнить горестное восклицание Владимира Оренова в его передаче «Фрак народа» об изумительном клоуне Енгибарове: «Как же их не хватает сейчас: Высоцкого, Енгибарова, Шукшина, Вампилова, чей голос хоть как-нибудь заглушил бы *галдеж популярных пакостников!*»

У Высоцкого – легендарная жизнь, легендарная смерть, людей интересуют подробности – пусть. Но когда-нибудь вся эта пена уйдет, и останется суть – то, для чего он и жил. Мой сын... нет, еще рано, мой внук или правнук откроет книгу и прочтет: «Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон – упадет, пропадет», и энергия, рвущаяся из этих строк, заставит его включить магнитофон, и он услышит голос человека, который единственный во всем мире ухитрился петь согласные. «Чуть по-м-м-м-едл-л-л-ен-н-нее, кони, чуть пом-м-медл-л-лен-н-нее». Эти мужские обертона в лирических песнях или этот рык-крик всем своим существом, всем своим ростом и весом, чтобы быть понятным, чтобы мы этот крик, эту суть услышали, – это повторить никто не может. Есть попытки, но они вызывают только досаду, как бифштекс в тюбике, в виде пасты. Поэтому его песни мало кто исполняет. Может, когда-нибудь кто-то и найдет к ним новый подход, новую, совершенно другую манеру и они зазвучат тоже совсем по-новому. А пока...

Мы с ним не простились и тогда, в 80-м, и сегодня не прощаемся. Потому что он продолжает петь с дисков, с магнитофона, иногда с экрана.

Давно, лет десять тому назад, на одном концерте меня попросили спеть «что-нибудь из Высоцкого». Я ответил тогда единственно возможным для меня способом. Я сказал: «Пусть он сам поет».

Что ему рейтинг, из его космоса, что ему вся эта возня – он свое отдал, он свое взял. И еще возьмет... Он – останется!

Про Михаила Козакова

Меня не покидает «восторг», когда я слышу словосочетание «живая легенда». Значит, существует и мертвая. А термин «мертвая легенда» вообще портит настроение. Равно как и «живая легенда» – что-то вроде упрека в том, что еще, как ни странно, – живая. Как шутил когда-то писатель Михаил Генин: «Если есть домашние хозяйки, значит, где-то должны быть и дикие».

Не лучше ли – комплиментарно, но и вежливо назвать человека просто легендой?

Вот и Козаков – безусловно фигура легендарная. Люди всегда не только смотрели его фильмы и спектакли, не только слушали, как он читает стихи, но и собирали о нем всяческие сплетни. А нынче, впрочем, как и всегда, легенду без сплетен не сплетешь. Так, если всем известно, что Козаков умеет и любит читать стихи и знает их в огромном количестве, то попутно возникает полуправда-полусплетня о том, что он во время застолья, не понимая, что утомляет собравшихся, безостановочно читает стихи до утра, не оставляя никому времени даже произнести тост. И это становится юмористической частью легенды. А ведь немногие способны на такое, хотя бы потому, что меньше знают, менее образованны. Козаков образован, он *знает* русский язык, в чем с ним могут сравниться очень немногие русские артисты. Он отчасти – миссионер. Он желает поделиться с аудиторией стихами и эмоциями, в них заложенными, он несет в массы культуру, не отдавая себе отчет в том, что эта культура нужна массам, как виндсерфинг – похмельному бомжу.

Но Михаилу безразлично мнение аудитории: он хоть и миссионер, но все же главное – самому испытывать наслаждение от процесса творчества, происходящего сейчас, в эту минуту. А если кто не понимает, значит, он просто животное, и к нему можно отнестись с пренебрежением и повести себя – рискуя схлопотать по лицу, – оскорбительно и по-барски. Даже в адрес профессиональных критиков он в своей книге выразился так: «Меня не интересует мнение евнухов о любви». Но поскольку Козаков стопроцентный артист – от кокетливой кепочки с красным помпоном до жалоб на здоровье (пусть даже обоснованных), – мнение «евнухов» его все равно интересует. И не только у критиков, но и у любого случайного человека он может спросить после спектакля: «Ну как?»

В Михаиле Козакове сосуществуют два совершенно разных человека. Вот например: он создал удивительно нежный и обаятельный фильм о любви и невозможности счастья («Безымянная звезда»). В нем есть отзвук, эхо знаменитых «Римских каникул» с Одри Хэпберн и Грегори Пеком. И почти невозможно поверить, что этот же человек может публично оскорбить, больно ранить ни в чем не повинного человека. Все, как у его любимого поэта – Иосифа Бродского. А еще – страх за себя и свою самосохранность и одновременно – полное пренебрежение собственным здоровьем; абсолютный, даже забавный временами, эгоцентризм и вдруг – пристальное внимание и участие в другом человеке и т. д. и т. д. Он бывает и великим, и мелким, и притом сам это прекрасно знает. Всё, что называется, в одном флаконе. Но... кто-то из великих (чуть ли не сам Пушкин) сказал ведь, что «все лучшее в себе я отдаю бумаге». Вот так и Козаков: все его лучшее – творчеству; все худшее – жизни, быту и прочему.

И я смотрю на него – иногда с восхищением, иногда – с любопытством, а порой – даже с отвращением, которое тут же забывается при очередном его творческом всплеске. И тогда горжусь тем, что он однажды назвал меня другом, что в его устах не играет абсолютно никакой роли, так как любая другая роль и вообще роль – значительно важнее. Но я все равно горжусь...

И последнее. Эпиграфом к жизни Михаила может послужить цитата из стихотворения еще одного его любимого поэта Давида Самойлова: «Да, расплачиваться надо на миру / За

веселье и отраду на пиру, / За вино и за ошибки – дочиста. / Но зато дуэт для скрипки и альта!»

Про Дурова

Perpetuum mobile, или Портрет Льва Дурова в интерьере нашей жизни. Масло. Елей

Тот, кто сказал, что вечный двигатель невозможен, – не знаком или плохо знаком с артистом Львом Дуровым. Я сознательно не перечисляю здесь его титулов и званий по двум причинам. Первая – это то, что он для меня, как ни странно, просто Левка, причем чуть ли не со второй недели знакомства, и разница в возрасте и положении тогда этому ничуть не помешала. А знаю я его давно, семнадцать лет. Вторая причина – это то, что звания у нас раньше шли по восходящей: т. е. заслуженный артист РСФСР, затем народный артист – того же образования, затем народный – СССР, и он все эти этапы честно прошел. Потом эти звания поехали обратно, по нисходящей: те, кто были народными в СССР, опять стали народными в России, и хотя некоторые титулованные артисты и требуют, чтобы их представляли не иначе как «народными артистами СССР», – это уже скорее политический акт, нежели проявление тщеславия: они таким образом тихо, но твердо протестуют против развала СССР.

Дурову же это – просто по барабану. Это свойство характера, вернее, одна из самых обаятельных черт его характера. Груз его регалий на него, мягко говоря, не давит. Редко кто называет его Львом Константиновичем (я не был исключением), разве что его студенты, но и те через месяц норовят перейти на «ты». Да впрочем, и трудно вечному двигателю – согласитесь – ходить плавно и величаво и называть себя медленно и долго – Лев Константинович; Левка – да и все тут. Это вовсе не унижает его, я бы сказал больше – это ему идет. Он мобилен и легок и не трясет жировыми складками своих вкладов в русскую культуру – у него этого целлюлита вообще нет, это ему мешает двигаться. А каким же еще быть вечному двигателю! Поэтому, заканчивая абзац про нисходящие движения, скажу: он достиг сегодня звания высочайшего – просто артист. Сегодня вполне достаточно в любом концерте объявить: «Лев Дуров», без всяких званий – услышите, что будет. Это уже элита, спецназ актерской армии. Имя – и только.

А если серьезно, то Дурову сейчас при нарушении каких-нибудь правил уличного движения стоит только высунуть голову из машины, как постовой начинает улыбаться и все заранее прощать – за автограф или контрамарку в театр. Причем это не просто дань популярности, это еще и уважение, и (странный сплав, не правда ли?) полный разрыв дистанции: какие там звания или знакомства на коротке с самыми влиятельными людьми страны – что вы! Он просто весел, и гаишники отвечают ему тем же.

Кстати, дуровское автомобиливождение – безусловное следствие его темперамента и заслуживает отдельного рассказа. Если кто-то заводится с пол-оборота и уже считается темпераментным, то Дуров – лишь с намека на оборот. Вот так он и ездит. Человек, сидящий рядом с водительским креслом Дурова, может всю дорогу впечатлениями не делиться, но в конце поездки он будет чувствовать себя каскадером, которому в этот раз здорово повезло. Адреналин сопровождает Дурова. Им, вечным двигателям, без него никак. Поэтому на машине своей он периодически стучается, а через месяц эксплуатации она становится похожей на грязную мыльницу, в которую ненароком попала авиабомба. У него их и не крадут. Потому что – а на фига такое красть?.. Его машина выглядит как вызов общественному мнению, как старые линялые джинсы на вручении отечественной кинопремии «Ника», где все вокруг в смокингах и «кисах» [гастуках-бабочках (жарг.)]. Однако Дуров, как никто другой, в джинсах на «Нике» смотрелся бы, они бы ему пошли, как идет ему и его машина. Он часто ставит ее в неподобающем месте и, поскольку она не может не оскорблять взора

работников ГАИ, – оставляет им на ветровом стекле записку шуточного содержания, подписывается «Лев Дуров», возвращается, видит там же оставленную ему от ГАИ записку, тоже с попыткой пошутить. Так и переписываются они с ГАИ – через лобовое стекло.

Был у меня юбилей и бенефис в моем театре «Школа современной пьесы». Сначала мы быстренько, без антракта, сыграли спектакль «А чой-то ты во фраке?», потом был антракт, потом меня с семьей посадили в ложу и начался то ли концерт, то ли капустник, а я, как юбиляр и зритель, этому внимал. Надо сказать, внимал с удовольствием, так как выступали Арканов, Горин, Кикабидзе, Шифрин, Задорнов, Шендерович, Дима Харатьян, Марк Розовский, Юрий Ряшенцев – в общем, сильный был концерт. Но первым вышел Лев Дуров с моим бессменным соавтором по капустникам в Театре на Малой Бронной – Герой Мартынюком. И Дуров начал: «Тут, – говорит, – за кулисами стоит куча насильно пригнанных друзей (ему свойственно всякий раз снижать пафос происходящего, он это называет словом «опустящить»). Дуров имеет на это полное право, так как употребляет этот прием чаще всего по отношению к себе). Так вот, наш театр [на Малой Бронной] всегда славился двумя вещами – во-первых, продолжительностью спектаклей (тут он повесил ненавязчивую паузу, словно подыскивая слова и давая залу возможность вспомнить, что «Идиот» идет три вечера подряд. Пауза была грамотная, что и говорить, в конце ее в зале стал нарастать хохот, на который Дуров и внимания-то не обратил), а во-вторых – обилием литераторов и поэтов. Два лучших – перед вами». Все это произносилось очень серьезно и даже якобы с волнением литератора, который сейчас впервые обнаружит новое произведение. Дуров объявил Геру, который прочел свой стишок и, в свою очередь, тоже объявил: «Поэт Лев Дуров», и, вроде бы трепеща, Дуров прочел следующее лирическое четверостишие: «Холодная весна, ну так и что ж. / Не горбись, как старик, а прыгай, как мальчишка. / И не забудь конечно про любовь. / У Качана есть тоже кочерыжка». Ключевое слово «кочерыжка» Дуров произнес про себя, грустно и слегка стесняясь. Хохот был страшный, хотя, если бы все это произнес кто-нибудь другой, – не сработало бы. Рифма «что ж» – «любовь» вызывает у меня некоторое сомнение, так безнаказанно рифмовать мог только Дуров, да и реприза про кочерыжку тоже носила несколько, как бы сказать, гривуазный характер, но, повторяю, то, как он это делает, – компенсирует все. Впрочем, я тут занимаюсь совсем глупым делом: пытаюсь на бумаге описать актерские финты Дурова, нельзя этого делать – идите в театр и посмотрите сами.

Про кочерыжку это что! Тут на недавнем таком же юбилее-бенефисе Филозова, посреди хора дифирамбов и при интеллигентном зале Дуров вышел к микрофону и рассказал историю о том, как во времена его молодости все мужское население Москвы носило велюровые шляпы. И вот он наконец тоже решил себе такую купить. С женой Ирой (или тогда еще невестой) он зашел в магазин в проезде Художественного театра и стал примерять эти шляпы, причем делал упор на зеленые, самые модные. Когда он в очередной зеленой шляпе вертелся перед зеркалом, Ира задумчиво произнесла: «Левочка, знаешь, что ты мне напоминаешь сейчас?..» – «Что?» – насторожился Дуров. «Говно под лопухом», – последовал ответ, и с тех пор Дуров к шляпам не подходит, он их избегает. Если бы вы слышали, как радовалась интеллигенция в зале. А я стоял рядом и в ужасе думал: а при чем тут юбилей Филозова, как же он вывернется?.. Вывернулся! Он сказал: «Я поздравляю тебя, Алик, не только с юбилеем, но и с тем, что про тебя никто такого сказать не может».

Это его «опустящивание», временами эпатаж – конечно же, родом из Лефортова, из его почти бластного детства. Когда он про это детство рассказывает, я начинаю понимать, что все случилось вопреки. Биография сделала какой-то странный зигзаг, и, вместо того чтобы стать лидером лефортовской братвы (у всех нормальных бластных по одной кличке, у Дурова было целых три – Швейк, Седой и Артист, естественно, одной ему было мало!), вместо того чтобы иметь за плечами минимум три ходки, а на ноге – татуировку типа «750 дней без женской ласки», – вместо всего этого он стал любимцем миллионов зрителей и порядоч-

ным семьянином. Я мало видел людей, которые бы так, как он, обожали дом, жену, детей, потом внуков. Он им предан. Он говорит, что любовь – это забота, обязанность, работа, если хотите. Дуровский клан, за которым я с удовольствием наблюдаю, – это такой монолит, по сравнению с которым любой сицилийский выглядит как куча дохлых медуз, выброшенных на берег вчера при температуре +40°.

Однако привнесенное из детства озорство и даже хулиганство – всегда при нем. Один из самых любимых в моей жизни спектаклей – пьеса «А все-таки она вертится», которую поставил Дуров. У меня была роль директора школы. Там приглашенные из детдома ребята в прологе играли в футбол. Минут десять. А среди них шустро крутился народный артист СССР, который совершенно очевидно забывал, что в зале давно сидят зрители, и был поглощен только мячом (это объяснимо: в юности он очень увлекался футболом и тогдашними футбольными успехами дорожит чуть ли не больше, чем, допустим, ролью в фильме «Не бойся, я с тобой»). Удовольствие получал и он, и зрители. А несколько ранее, когда меня только пригласили в Театр на Малой Бронной, я стал для знакомства смотреть их спектакли и первым делом пришел, естественно, на классический эфрософский спектакль «Женитьба». С женой пришел, как полагается, чтоб всё как у людей... Мы чинно уселись в третьем ряду. Спектакль был в самом разгаре, когда лично еще не очень знакомый, но уже очень почитаемый мною артист Дуров ославил меня на весь зал. Речь заходит о фамилии Яичница, и Дуров, игравший, как известно, Жевакина, говорит: «Однако престранные фамилии иногда бывают (перечисляет): такая-то, такая-то, – и в конце, – Качан, например». И в упор смотрит в третий ряд. Гоголь этого текста не писал. А мне чуть дурно не стало (невольный каламбур, прошу прощения), но позднее я понял, что Дурова без этого просто нет: где возникает малейшая возможность пошалить и похулиганить, Дуров тут как тут. Розыгрыш – его стихия.

Он как-то на улице встретил артиста Бориса Химичева и полчаса ему очень серьезно рассказывал, что затеял издание нового журнала о кино и театре и просит его, Химичева, войти в редколлегия. Дуров объяснял концепцию нового журнала, описывал обложку, называл авторов, которые уже согласились. И, наконец, когда Химичев уже был готов, только не знал, как задать решающий вопрос «Сколько будут платить?», и задал пока другой: «А как будет называться журнал?» – Дуров небрежно ответил: «Звезды и пизды». Борис потом сетовал, что битый час позволял себя дурачить.

Дуров всегда говорит, что маленький человек – это победитель. Должно быть, это справедливо, ибо как-то нужно компенсировать то, чего недодала природа. Чем можно победить красивых и высоких? Только талантом и умением работать. И еще – поступками, которые, собственно, и отличают мужчину от мужчины, определяемого только по половым признакам. Ну кто еще, скажите, едва выкарабкавшись из тяжелейшего инсульта, через месяц поедет на съемки, потому что группа, видите ли, простаивает без него; а месяцем позже уже опять будет играть рискованную роль Санчо, чтобы театр больше не отменял спектакли? Да почти никто, большинство себя побережет.

А в первые недели болезни – если и лежит, то поминутно дергаясь. Поминутно пытается вскочить и чего-то изобразить, чем создает домашним дополнительные хлопоты и заставляет тренировать бдительность. Вечный двигатель – чего там... «Ума-то нету», – как говорит его товарищ по фильму Михаил Евдокимов.

Если бы мне предложили определить его амплуа, я бы ради Дурова изобрел что-то новенькое, я бы сказал, что он – драматический клоун. То есть, он сочетает в себе качества и белого, и рыжего клоуна. Счастливцева и Несчастливцева. Смешной, злой, вредный, всегда победитель – с одной стороны. И смешной (казалось бы!), однако вызывающий жалость и сострадание – с другой. Вот как его Жевакин в той же «Женитьбе». У вас отчего-то сжимается сердце, когда он в этой смешной ситуации говорит эти смешные слова. Он может быть и тем и тем. Но – клоуном. И в этом ничего низкого, наоборот, это высший пилотаж в актер-

ской профессии – не стесняться быть клоуном и одинаково сильно владеть и трагическим и комическим. Только недалекие люди, которых распирает от собственной значимости, произносят это слово с оттенком пренебрежения, например: «А что тут делает этот клоун?» Нет, клоун – это *очень* хорошо! Вот Феллини, например, чрезвычайно уважал клоунов. Он говорил: «Заставлять людей смеяться мне казалось всегда самым привилегированным из всех призваний, почти как призвание святого». И почти во всех его фильмах есть клоуны.

Пару лет назад в санатории «Актер» в Сочи (там, к слову, фантазию особенно не напрягают: у них и санаторий – «Актер» и ресторан на территории – «Актер», и т. д.) – в столовой я увидел меню, в котором было блюдо под названием: «Котлета рубленая “Актер”». Это уже не блюдо, это участь. И это напрямую относится к актеру Дурову. Рубленая, перерубленная эта котлета. Это участь, это доля, это, некоторые говорят, диагноз. Но это и – счастье, которое посещает иногда в этой профессии. Бывают в ней, знаете ли, минуты, нет, даже секунды, когда ты вместе с твоим уже залом поднимаешься над злобой дня, и у вас у всех становятся одинаковые глаза. Как вы становитесь добры, умны и великодушны, как вы благородны сейчас! И вот тот молодой человек в пятом ряду пойдет сегодня и вдруг напишет письмо маме, которой не писал полгода; кто-то именно сегодня не повысит голос на жену или сына (ну не захочется отчего-то!) – ты что-то сделал сегодня на сцене такое, что его остановит. Вот ради этих мгновений, наверное, мы и живем в этой профессии. Дурову они удавались чаще других, поэтому он и счастливый человек.

География его звания (народный артист СССР) формально сузилась до размеров России, а фактически – расширилась. Потому что он по-прежнему народный артист и Украины, и Белоруссии, и Казахстана, и Прибалтики, и Израиля, и США, и всех других стран, где любят и помнят артиста Дурова, драматического клоуна, хулигана, анекдотчика, своего в доску мужика для всех слоев населения, а потому – абсолютно *народного* артиста. Иногда, право, хочется сказать комплимент прямо в лицо, а то мы вечно делаем это за гробовой доской. Скорбно бубним: «От нас ушел замечательный артист». Нет, слава богу можно сказать: «Среди нас живет замечательный артист». Будьте к нему повнимательнее, чаще говорите ему, что вы его любите, ничего, ничего, не стесняйтесь, это *прижизненно* согревает сердце адресату ваших похвал.

Когда ему было пятьдесят, он притащил в театр свой большущий портрет, написанный кем-то в стиле портретной живописи XIX века. На нем Дуров сидит в позе графа Нессельроде и пристально в нас вглядывается. Мы выставили, по предложению именинника, этот портрет перед входом в зрительный зал и, чтобы опустышить помпезность позы и содержания, – поместили внизу табличку с надписью: «Неизвестный художник XIX века. Портрет Дурова. Масло. 3 р. 60 к. – 1 кг». А мы с поэтом Юрием Ряшенцевым сочинили романс, в конце которого звучало пожелание: «Чтоб на вопрос “ну как делишки, Лева?” – ты б никогда не смог сказать... что плохо».

Вот, думаю я, всем не хватает счастья. Кому больше, кому меньше, кто считает, что у него вообще счастья нет. А многие даже не знают, что это такое, и принимают за счастье «чувство глубокого удовлетворения» (по Брежневу). Но, может быть, его и не должно быть много? Семья, любимое дело и, наконец, это великое умение – заставлять людей смеяться... И быть среди них своим, близким... Может, больше и не надо ничего?... Нет! Нехорошо! Одиноко как-то быть единственным вечным двигателем. Продолжим эту нехитрую метафору и добавим: вечным двигателем *внутреннего сгорания*, потому что так, как палит себя Дуров, – никто не умеет. Да и конструктор этого вечного двигателя тоже один, изобрел самого себя в одном экземпляре... Хотя, правда, вот еще внук Ваня подрастает. Подает надежды. Так что посмотрим... Посмотрим...

Смотреть прямо

Кажется, совсем недавно было 50-летие. Двадцать лет прошли как два дня. Давно ведь известно, что вторая половина жизни идет гораздо быстрее, чем первая. Не идет даже – несется. Впрочем, у меня нет уверенности в том, что у него сейчас вторая половина жизни, потому что он ее живет в точности как первую. В старости обычно люди не спешат. «Обычно», как и «старость», – это не про него. «Обычно» у него никогда не бывает, все необычно. А старость и Дуров – вообще «две вещи несовместные». Интервал с 50-ти до 70-ти иногда превращает людей в дряхлых стариков. Дурова это совершенно не касается. Он не желает превращаться в старика ни внешне (в пятьдесят выглядел точно так же, как и сейчас), ни по поведению. Такое ощущение, что Дуров навсегда остается в возрасте предыдущего, пятидесятого юбилея. Он так захотел. Когда уже многое можешь, умеешь, когда все еще сил полно и все они реализуются не вразброс, не куда попало, а правильно, без досадных ошибок. Вложиться можно во что угодно, иногда даже истратить себя на то, что потом окажется сущим пустяком, или, что еще хуже, – на человека, который потом окажется сущим пустяком. Но в пятьдесят и далее, выражаясь специфическим языком криминального мира, «фильтруешь базар» несколько тщательнее. И это тоже плюс этого возраста. Хотя, надо признать, что у Дурова и сейчас темперамент бывает подчас сильнее разума, и никуда от этого не денешься, потому что темперамента в нем слишком много. И это ему идет. Его ошибки ему к лицу. Не советую, однако, кому-нибудь пользоваться его опытом в этом смысле, потому что может не хватить ни темперамента, ни обаяния, и тогда ошибка может оказаться нервнующим проколом с последствиями.

Не так давно мы оба приняли участие в большой совместной ошибке. Было 10-летие передачи «Театр+ТВ». Этот выпуск должен был стать веселым, озорным, импровизационным действием. Всем была велено припомнить какие-нибудь забавные истории, касающиеся одновременно и театра, и ТВ. Собралась уйма главных режиссеров московских театров, а вел всю программу министр культуры. Серьезные, короче, люди собрались. Но если учесть, что среди них было немало личностей, склонных к озорству, веселью и розыгрышу (Ширвиндт, Райкин, Виктюк, Хазанов и остальные главные и неглавные режиссеры и актеры, способные рассмешить даже присутствовавшего тут же Марка Захарова), то все должно было получиться. Но в том-то и дело, что когда «должно» – тогда чаще всего не получается. Это вам не «Белый попугай», когда команда распоясавшихся потенциальных хулиганов травит анекдоты, не обращая никакого внимания на камеру, а капитан этой команды – Юрий Никулин. А тут на анекдоты опереться нельзя, а нужно, тем не менее, создавать атмосферу веселого праздника. Главные режиссеры, несмотря на то, что в других местах ведут себя как мальчишки (в том же «Попугае», например), – вдруг стали вести себя именно как главные режиссеры, пытающиеся веселиться, так сказать, не теряя чувства собственного достоинства, солидно этак – веселиться.

Да что там «пытающиеся»! Никто поначалу и не пытался даже! Заработали камеры. Все сидят, молчат.

– Ну, кто начнет? – с легким пока предстартовым волнением спрашивает ведущая передачи Катя Уфимцева.

Все молчат. Даже Ширвиндт молчит, потому что процесс подготовки трубки к курению очень сложен и требует максимальной сосредоточенности. Даже Хазанов с необоснованным вниманием рассматривает то, что расставлено на столе.

– Ну, давайте же, Александр Анатольевич, – обращается к Ширвиндту Катя с уже растущей тревогой.

– Геннадий Викторович, – растерянно продолжает она взывать к некоронованному королю смеха Хазанову.

Ничего! Молчаливое сопение Ширвиндта над трубкой, вопрошающий взгляд на него слева Михаила Державина и смущенное опускание глаз у всех остальных, будто у школьников, не выучивших урок и внезапно вызванных к доске. Бразды правления над этим, прямо скажем, вялотекущим шоу, берет в руки министр культуры Михаил Швыдкой, что само по себе, может, и справедливо, но игривости действию не прибавляет. Никто не может сразу привыкнуть к быстро меняющимся стереотипам и представить себе в такой роли, допустим, Демичева, Фурцеву или (страшно сказать!) Луначарского – никак невозможно. Хотя времена и изменились кардинально, и Михаил Ефимович далеко не чужд ни демократическому веселью, ни демократической же простоте в общении – все это выглядит несколько странновато и дела не меняет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.